

## И. С. ТУРГЕНЕВ

### «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шёпот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперевивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подалее, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жметесь и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

*Сентябрь, 1879*

## А.А. Блок

\* \* \*

Она пришла с мороза,  
Раскрасневшаяся,  
Наполнила комнату  
Ароматом воздуха и духов,  
Звонким голосом  
И совсем неуважительной к занятиям  
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол  
Толстый том художественного журнала,  
И сейчас же стало казаться,  
Что в моей большой комнате  
Очень мало места.

Всё это было немножко досадно  
И довольно нелепо.  
Впрочем, она захотела,  
Чтобы я читал ей вслух "Макбета".

Едва дойдя до пузырей земли,  
О которых я не могу говорить без волнения,  
Я заметил, что она тоже волнуется  
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот  
С трудом лепится по краю крыши,  
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,  
Что целовались не мы, а голуби,  
И что прошли времена Паоло и Франчески.

## А.А. Блок

\* \* \*

Когда вы стоите на моем пути,  
Такая живая, такая красивая,  
Но такая измученная,  
Говорите все о печальном,  
Думаете о смерти,  
Никого не любите  
И презираете свою красоту -  
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,  
Не обманщик и не гордец,  
Хотя много знаю,  
Слишком много думаю с детства  
И слишком занят собой.  
Ведь я - сочинитель,  
Человек, называющий все по имени,  
Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,  
Сколько ни размышляйте о концах и началах,  
Все же, я смею думать,  
Что вам только пятнадцать лет.  
И потому я хотел бы,  
Чтобы вы влюбились в простого человека,  
Который любит землю и небо  
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,  
Так как - только влюбленный  
Имеет право на звание человека.

**В.В. Набоков**

**Из романа «Дар»**

Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала -- и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем как персик небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, -- а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена.

Из темноты, для глаз всегда неожиданно, она как тень внезапно появлялась, от родственной стихии отделяясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета -- цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица. Посвящено Георгию Чулкову. Федор Константинович целовал ее в мягкие губы, и затем она на мгновение опускала голову к нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядом с ним, сперва с такой грустью на лице, словно за двадцать часов их разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-по-малу она приходила в себя, и вот улыбалась -- так, как днем не улыбалась никогда. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.

<...>

После этого у них осталось одиннадцать пфеннигов, считая почерневшую монетку, которую она на-днях подобрала с панели: приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины и -- опять стеснение чувств, но уже в другом, томном, преломлении. До дому было минут двадцать тихой ходьбы, и сосало под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью, от липы до липы, и опять, под ждущим шатром, нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: "ах... понюхай", -- и опять преснел мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня, неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой, медленно-медленно, и держу тебя за плечо, всё немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, -- вот-вот истаем совсем... И всё это мы когда-нибудь вспомним, -- и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот, на углу -- дом.

Прощай-же, книга! Для видений -- отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, -- но удаляется поэт. И всё-же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, -- и для ума внимательного нет границы -- там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, -- и не кончается строка.

## С. Гандлевский

\* \* \*

Картина мира, милая уму: писатель сочиняет про Муму; шоферы колятся по всей земле со Сталиным на лобовом стекле; любимец телевиденья чабан кастрирует козла во весь экран; агукая, играючи, шутя, мать пестует щекастое дитя. Сдается мне, согражданам не лень усердствовать. В трудах проходит день, а к полночи созреет в аккурат мажорный гимн, как некий виноград.

Бог в помощь всем. Но мой физкультпривет писателю. Писатель (он поэт), несносных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит бледный лес берез, вникая в смысл житейских передраг, причуд, коллизий. Вроде бы пустяк по имени хандра, и во врачах нет надобности, но и в мелочах видна утечка жизни. Невзначай он адрес свой забудет или чай на рукопись прольет, то вообще купает галстук бархатный в борще. Смех да и только. Выпал первый снег. На улице какой-то человек, срывая голос, битых два часа отчитывал нашкодившего пса.

Писатель принимается писать. Давно ль он умудрился променять объем на вакуум, проточный звук на паузу? Жизнь валится из рук безделкою, безделицею в щель, внезапно перейдя в разряд вещей еще душемутительных, уже музейных, как-то: баночка драже с истекшим сроком годности, альбом колониальных марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок...

В романе Достоевского "Игрок" описан странный случай. Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его. Добро бы лишь его, но существо небесное, предмет любви - и та наделала долгов. О, нищета! Спасая положение, наш герой сперва, как Германн, вчуже за игрой в рулетку наблюдал, но вот и он выигрывает сдуру миллион. И так, женитьба? - Дудки! Грозный пыл объемлет бедолагу. Он забыл про барышню, ему предрешено в испарине толкаться в казино. Лишения, долги, потом тюрьма. "Ужели я тогда сошел с ума?" - себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович. А на кого пенять?

Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь на эти пять похабных рифм: свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь! И вновь поэт включает за полночь настольный свет, по комнате описывает круг. Тошнехонько и нужен верный друг. Таким была бы проза. Дай-то Бог. На весь поселок брешет кабыздох. Поэт глядит в холодное окно. Гармония, как это ни смешно, вот цель его, точнее, идеал. Что выиграл он, что он проиграл? Но это разве в картах и лото есть выигрыш и проигрыш. Ни то изящные материи, ни се. Скорее розыгрыш. И это все? Еще не все. Ценить свою беду, найти вверху любимую звезду, испарину труда стереть со лба и сообщить кому-то: "Не судьба".

Прощай-же, книга! Для видений –  
отсрочки смертной тоже нет.  
С колен поднимется Евгений,  
-- но удаляется поэт.  
И всё-же слух не может сразу  
расстаться с музыкой, рассказу  
дать замереть... судьба сама  
еще звенит, -- и для ума  
внимательного нет границы --  
там, где поставил точку я:  
продленный призрак бытия  
синеет за чертой страницы,  
как завтрашние облака, --  
и не кончается строка.

Прощай-же, книга! Для видений –  
отсрочки смертной тоже нет.  
С колен поднимется Евгений,  
-- но удаляется поэт.  
И всё-же слух не может сразу  
расстаться с музыкой, рассказу  
дать замереть... судьба сама  
еще звенит, -- и для ума  
внимательного нет границы --  
там, где поставил точку я:  
продленный призрак бытия  
синеет за чертой страницы,  
как завтрашние облака, --  
и не кончается строка.

Прощай-же, книга! Для видений –  
отсрочки смертной тоже нет.  
С колен поднимется Евгений,  
-- но удаляется поэт.  
И всё-же слух не может сразу  
расстаться с музыкой, рассказу  
дать замереть... судьба сама  
еще звенит, -- и для ума  
внимательного нет границы --  
там, где поставил точку я:  
продленный призрак бытия  
синеет за чертой страницы,  
как завтрашние облака, --  
и не кончается строка.

## **В. Шаламов**

### **Воскрешение лиственницы**

Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем.

Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности – не разрушенной, не отравленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.

Этот странный подарок, иссушенную, продутую ветрами самолетов, мятую, изломанную в почтовом вагоне, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду.

Ставят в консервную банку, налитую злой хлорированной обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама, может, и рада засушить все живое, – московская мертвая водопроводная вода.

Лиственницы серьезней цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени в горячую воду, расщепляя ветки и окуная их в кипяток.

Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к Черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки – черемухи, сирени.

Это понимает хозяйка. Понимает это и лиственница.

Повинуясь страстной человеческой воле, ветка собирает все силы – физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть только от физических сил: московского тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. В ветке разбужены иные, тайные силы.

Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, живые ярко-зеленые иглы свежей хвои.

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскрешения не может не быть – ведь лиственница поставлена в банку с водой в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки, поэта.

Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы.

Этот нежный запах, эта ослепительная зелень – важные начала жизни. Слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой, скрытые в лиственнице и показавшиеся на свет.

Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила бы этот запах, не потушила этот зеленый свет и цвет.

Сколько лет – исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем, – лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою.

Сколько лет? Сто. Двести. Шестьсот. Зрелость даурской лиственницы – триста лет.

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, – ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет?

После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов – бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России – ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие. Наталья Шереметева все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка которой ожила на московском столе, уже жила, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лиственница источала, именно источала запах, как сок. Запах переходил в цвет, и не было между ними границы.

Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов – людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах – это был голос мертвых.

От имени этих мертвецов лиственница и осмеливалась дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду – это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой: ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой – жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке с водой.

Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные; лиственница – не предмет, не тема для романсов.

Лиственница – дерево очень серьезное. Это – дерево познания добра и зла, – не яблоня, не березка! – дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая.

Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей.

На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланник.

И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Нет, лиственница – дерево, непригодное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романс. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить не о себе. Не память о нем, но память о тех миллионах убитых, замученных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз, видеть такое, найти мужество не рассказать, но запомнить. Человек и его жена удочерили девочку – заключенную девочку умершей в больнице матери – хоть в своем, личном смысле взять на себя какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг.

Помочь товарищам – тем, кто остался в живых после концлагерей Дальнего Севера...

Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.

Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие; шестьсот лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека; что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение, будут вдыхать ее запах – не как память о прошлом, но как живую жизнь.